

ДЖЕК
ЛОНДОН

Железная пята
Люди бездны



✦ ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА ✦

Зарубежная классика (АСТ)

Джек Лондон

Железная пята. Люди бездны

«Издательство АСТ»

1908,1903

УДК 821.111(73)

ББК 84 (7Сое)

Лондон Д.

Железная пята. Люди бездны / Д. Лондон — «Издательство АСТ», 1908,1903 — (Зарубежная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-145349-7

«Железная пята» – весьма необычный и увлекательный роман-антиутопия, посвященный ближайшему (на момент публикации в 1908 году) будущему США и планеты Земля в целом. Как и никому из мастеров антиутопического (да и утопического) жанра, Лондону не удалось в точности предсказать будущее. Однако сбылось многое из того, о чем он написал в романе, – и гигантские корпорации, поглощающие малый и средний бизнес, и сама идея «корпоративной культуры», и мировые войны с Германией, и даже... 1917 год как дата мощного социального взрыва. «Люди бездны» – сборник очерков о трагической жизни лондонских бедняков, ради написания которого автор, с присущим ему благородным авантюризмом, переоделся в отставшего от корабля матроса и несколько месяцев прожил среди своих будущих персонажей, деля с ними нищету и невзгоды. Перед читателем проходит целая галерея обитателей этого ада на земле – опустившихся и несчастных или сильных, целеустремленных и готовых бороться за существование.

УДК 821.111(73)

ББК 84 (7Сое)

ISBN 978-5-17-145349-7

© Лондон Д., 1908,1903

© Издательство АСТ, 1908,1903

Содержание

Железная пята	6
Предисловие	6
Глава I	9
Глава II	17
Глава III	25
Глава IV	31
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Джек Лондон
Железная пята
Люди бездны
Сборник

Jack London
The Iron Heel
The People of the Abyss

* * *

Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

© Перевод. Р. М. Гальперина, наследники, 2021
© Перевод. В. И. Лимановская, наследники, 2021
© ООО «Издательство АСТ», 2021

Железная пята

Предисловие

Записки Эвис Эвергард нельзя считать надежным историческим документом. Историк обнаружит в них много ошибок, если не в передаче фактов, то в их истолковании. Прошло семьсот лет, и события того времени и их взаимосвязь – все то, в чем автору этих мемуаров было еще трудно разобраться, – для нас уже не представляет загадки. У Эвис Эвергард не было необходимой исторической перспективы. То, о чем она писала, слишком близко ее касалось. Мало того, она находилась в самой гуще описываемых событий.

И все же как человеческий документ «Эвергардовский манускрипт» исполнен для нас огромного интереса, хотя и здесь дело не обходится без односторонних суждений и оценок, рожденных пристрастием любви. Мы с улыбкой проходим мимо этих заблуждений и прощаем Эвис Эвергард ту восторженность, с какой она говорит о муже. Нам теперь известно, что он не был такой исполинской фигурой и не играл в событиях того времени столь исключительной роли, как утверждает автор мемуаров.

Эрнест Эвергард был человек выдающийся, но все же не в той мере, как считала его жена. Он принадлежал к многочисленной армии героев, самоотверженно служивших делу мировой революции. Правда, у Эвергарда были свои особые заслуги в разработке философии рабочего класса и ее пропаганды. Он называл ее «пролетарская наука», «пролетарская философия», проявляя известную узость взглядов, которой в то время невозможно было избежать.

Но вернемся к мемуарам. Величайшее их достоинство в том, что они воскрешают для нас атмосферу той страшной эпохи. Нигде мы не найдем такого яркого изображения психологии людей, живших в бурное двадцатилетие с 1912–1932 год, их ограниченности и слепоты, их страхов и сомнений, их моральных заблуждений, их неистовых страстей и нечистых помыслов, их чудовищного эгоизма. Нам, в наш разумный век, трудно это понять. История утверждает, что так было, а биология и психология объясняют нам, почему. Но ни история, ни биология, ни психология не в силах воскресить для нас этот мир. Мы допускаем его существование в прошлом, но он остается нам чужд, мы не понимаем его.

Понимание это возникает у нас при чтении «Эвергардовского манускрипта». Мы как бы сливаемся с действующими лицами этой отзвучавшей мировой драмы, живем их мыслями и чувствами. И нам не только понятна любовь Эвис Эвергард к ее героическому спутнику – мы ощущаем вместе с самим Эвергардом угрозу олигархии, страшной тенью нависшей над миром. Мы видим, как власть Железной пяты (не правда ли, удачное название!) надвигается на человечество, грозя его раздавить.

Кстати, мы узнаем, что создателем утвердившегося в литературе термина «Железная пята» явился в свое время Эрнест Эвергард, – небезынтересное открытие, проливающее свет на вопрос, который долго оставался спорным. Считалось, что название «Железная пята» впервые встречается у малоизвестного журналиста Джорджа Милфорда в памфлете «Вы – рабы!», опубликованном в декабре 1912 года. Никаких других сведений о Джордже Милфорде до нас не дошло, и только в «Эвергардовском манускрипте» бегло упоминается, что он погиб во время чикагской резни. По всей вероятности, Милфорд слышал это выражение из уст Эрнеста Эвергарда – скорее всего, во время одного из выступлений последнего в предвыборную кампанию осенью 1912 года. Сам же Эвергард, как сообщает нам манускрипт, впервые употребил его на обеде у одного частного лица еще весной 1912 года. Эта дата и должна быть признана исходной.

Для историка и философа победа олигархии навсегда останется неразрешимой загадкой. Чередование исторических эпох обусловлено законами социальной эволюции. Эти эпохи были

исторически неизбежны. Их приход мог быть предсказан с такой же уверенностью, с какой астроном исчисляет движение звезд. Это правомерные этапы эволюции. Первобытный коммунизм, рабовладельческое общество, крепостное право и наемный труд были необходимыми ступенями общественного развития. Но смешно было бы утверждать, что такой же необходимой ступенью явилось господство Железной пяты. Мы в настоящее время склонны считать этот период случайным отклонением или отступлением к жестоким временам тиранического социального самовластия, которое на заре истории было так же закономерно, как неправомерно стало впоследствии торжество Железной пяты.

Недобрую память оставил по себе феодализм, но и эта система была исторически необходима. После крушения такого мощного централизованного государства, как Римская империя, наступление эпохи феодализма было неизбежно. Но этого нельзя сказать о Железной пяте. В закономерном течении социальной эволюции ей нет места. Ее приход к власти не был исторически оправдан и необходим. Он навсегда останется в истории чудовищной аномалией, историческим курьезом, случайностью, наваждением, чем-то неожиданным и немыслимым. Пусть же это послужит предостережением для тех опрометчивых политиков, которые так уверенно рассуждают о социальных процессах.

Капитализм почитался социологами тех времен кульминационной точкой буржуазного государства, созревшим плодом буржуазной революции, и мы в наше время можем только присоединиться к этому определению. Следом за капитализмом должен был прийти социализм – это утверждали даже такие выдающиеся представители враждебного лагеря, как Герберт Спенсер. Ожидали, что на развалинах своекорыстного капитализма вырастет цветок, взлелеянный столетиями, – братство людей. А вместо этого, к нашему удивлению и ужасу, а тем более к удивлению и ужасу современников этих событий, капитализм, созревший для распада, дал еще один чудовищный побег – олигархию.

Социалисты начала двадцатого века слишком поздно обнаружили приход олигархии. Когда же они спохватились, олигархия была уже налицо – как факт, запечатленный кровью, как жестокая, кошмарная действительность. Но в то время, по свидетельству «Эвергардовского манускрипта», никто не верил в долговечность Железной пяты. Революционеры считали, что низвергнуть ее – дело нескольких лет. Они понимали, что крестьянское восстание возникло наперекор их планам, а первое вспыхнуло преждевременно, но никто не ожидал, что и второе восстание, хорошо подготовленное и вполне созревшее, обречено на такую же неудачу и еще более жестокий разгром.

Очевидно, Эвис Эвергард писала свои записки в дни, предшествовавшие второму восстанию: в них ни слова нет о его злополучном исходе. Несомненно также: она надеялась опубликовать их сразу же после свержения Железной пяты, чтобы воздать должное памяти погибшего мужа. Но тут наступила катастрофа, и, готовясь бежать или в предвидении ареста, она спрятала записки в дупле старого дуба в Уэйк-Робинлодже.

Дальнейшая судьба Эвис Эвергард неизвестна. По всей вероятности, ее казнили наемники, а во времена Железной пяты никто не вел учета жертвам многочисленных казней. Одно можно сказать с уверенностью: пряча рукопись в тайник и готовясь к бегству, Эвис Эвергард не подозревала, какой страшный разгром потерпело второе восстание. Она не могла предвидеть, что извилистый и трудный путь общественного развития потребует в ближайшие триста лет еще и третьего, и четвертого восстаний и много других революций, потопленных в море крови, – пока рабочее движение не одержит наконец победы во всем мире. Ей и в голову не приходило, что ее записки, дань любви к Эрнесту Эвергарду, семь долгих столетий пролежат в дупле векового дуба в Уэйк-Робинлодже, не потревоженные ничьей рукой.

*Антони Мередит*¹

¹ *Антони Мередит* – по замыслу Лондона, человек XXVII в., первый издатель и комментатор записок Эвис Эвергард.

Ардис, 27 ноября 419 года эры Братства людей

Глава I Мой орел

*Земной Театр! Нам стыд и горе —
Картин знакомых карусель...
Но потерпи, узнаешь вскоре
Безумной драмы смысл и цель!*

Легкий летний ветерок шелестит в могучих секвойях, шаловливая Дикарка неумолчно журчит между мшистыми камнями. В ярких лучах солнца мелькают бабочки; воздух напоен дремотным гудением пчел. Тишина и спокойствие вокруг, и только меня гнетут думы, гложет тревога. Безмятежная тишина надрывает мне душу. Как она обманчива! Все притаилось и молчит, но это затишье перед грозой. Я напрягаю слух и всем существом ловлю ее приближение. Только б она не разразилась слишком рано. Горе, горе, если она разразится слишком рано!²

У меня немало причин для тревоги. Мысли, неотвязные мысли не покидают меня. Я так долго жила кипучей, деятельной жизнью, что тишина и покой кажутся мне тяжким сном, и я не могу забыть о том яростном шквале смерти и разрушения, который вот-вот пролетит над миром. В моих ушах звенят вопли поверженных, а перед глазами все те же призраки прошлого³. Я вижу поруганную, истерзанную человеческую плоть, вижу, как насилие исторгает душу из прекрасного гордого тела, чтобы в злобном неистовстве швырнуть ее к престолу творца. Так мы, люди, через кровь и разрушение идем к своей цели, стремясь навсегда обновить мир и радость на земле.

И одиночество... Когда я не думаю о том, что будет, мысли мои обращаются к тому, что было и не возвратится вновь, — к тебе, мой орел, парящий на мощных крыльях, устремленный ввысь, к солнцу, ибо солнцем был для тебя светлый идеал свободы. Я не в силах сидеть и ждать сложа руки прихода великих событий, которые вызваны к жизни моим мужем, хоть ему и не суждено было увидеть их рождение. Он отдал нашему делу свои лучшие годы и умер за него. Это плоды его трудов, его создание⁴.

Итак, эти томительные дни я хочу посвятить воспоминаниям о моем муже. Есть многое, о чем из всех живущих могу рассказать лишь я одна, а ведь о таком человеке, как Эрнест, сколько ни рассказывай, все мало. В Эрнесте жила великая душа, и когда в моей любви умолкает все личное, я больше всего скорблю при мысли, что его не будет здесь завтра, чтобы встретить зарю нового дня. В том, что мы победим, не может быть сомнений. Он строил так прочно, так надежно, что здание устоит. Смерть Железной пяте! Близок день, когда поверженный человек поднимет голову. Как только эта весть разнесется по всему миру, повсюду восстанут армии труда. Свершится то, чего еще не знала история. Солидарность рабочих обеспечена, а это значит, что международная революция впервые развернется во всю свою необъятную ширь⁵.

² Второе восстание было в значительной степени делом рук Эрнеста Эвергарда, хотя он, конечно, готовил его в тесном контакте с европейскими лидерами. Сам Эвергард был схвачен и тайно казнен весной 1932 г. христианской эры, однако восстание было так тщательно подготовлено, что товарищам удалось полностью осуществить его планы, избежав растерянности и промедления. Эвис Эвергард после казни мужа уединилась в Уэйк-Робинлодже, небольшой усадьбе в Калифорнии, в Сономских горах.

³ Здесь, очевидно, имеется в виду усмирение Чикагского восстания.

⁴ При всем уважении к Эвис Эвергард мы должны отметить, что муж ее был только одним из многих талантливых руководителей, подготовивших второе восстание. Теперь, спустя много столетий, можно сказать с уверенностью, что если бы Эвергард остался жив, это бы несколько не изменило трагической развязки.

⁵ Второе восстание действительно приобрело международный характер. Это был поистине грандиозный замысел, и уже

Как видите, я вся во власти надвигающихся событий. Я жила этим день и ночь так долго, что ни о чем другом не в силах думать. А тем более, говоря о моем муже, могу ли я не говорить о его деле! Он был душой этого великого начинания, и для меня они нераздельны.

Как я уже сказала, есть многое, что только я одна могу рассказать об Эрнесте. Все знают, что он, не щадя себя, работал для революции и немало перенес. Но как он работал и сколько перенес, знаю я одна. Двадцать грозных лет мы были с ним неразлучны, и мне больше, чем кому-либо, известно его терпение, его неистощимая энергия и безграничная преданность делу революции, за которое он два месяца назад сложил голову.

Постараюсь просто и по порядку рассказать, как Эрнест вошел в мою жизнь, – о нашей первой встрече, о том, как он постепенно овладел моей душой и перевернул весь мой мир. И тогда вы увидите его моими глазами, узнаете таким, каким знала я, – кроме самого заветного и дорогого, что слова бессильны передать.

Мы познакомились в феврале 1912 года, когда Эвергард по приглашению моего отца⁶ явился к нам, в наш особняк в городе Беркли, на званый обед. Не могу сказать, чтоб он понравился мне с первого взгляда, – скорее наоборот. В гостиной, где собралось все общество, Эрнест производил странное, чтобы не сказать «дикое», впечатление. Среди почтенных служителей церкви на этом обеде, который отец шутя назвал «синедрионом», Эвергард казался человеком с другой планеты.

Прежде всего одет он был ужасно. Костюм из дешевого темного сукна, купленный в магазине готового платья, сидел на нем убийственно. Да Эрнесту, при его сложении, и нельзя было покупать ничего готового. Его богатырские мускулы выпирали из-под жиденького сукна, на атлетических плечах набегали складки. Глядя на его шею, массивную и мускулистую, как у профессионального боксера⁷, я невольно подумала: так вот оно, последнее увлечение папы – философ-социолог, в недавнем прошлом кузнечный подмастерье. Он и сейчас напоминает кузнеца – достаточно взглянуть на эти мускулы и бычий загровок; должно быть, из этих самородков, «Слепой Том»⁸ рабочего класса.

А его рукопожатие! Оно было крепким и властным, и взгляд его черных глаз слишком пытливо, как мне показалось, задержался на моем лице. Так рассуждала я, дитя своей среды, девушка с классовыми предрассудками. Человеку моего круга я не простила бы такой смелости. Помню, я невольно опустила глаза и с чувством облегчения поспешила навстречу епископу Морхаузу, нашему старому другу, – это был обаятельный человек средних лет, лицом и кротким нравом напоминавший Христа, к тому же очень начитанный и образованный.

Между тем оскорбившая меня смелость составляла, пожалуй, основную черту Эрнеста Эвергарда. Человек прямой и открытой души, он ничего не боялся и презирал условности. «Ты мне понравилась, – объяснял он мне впоследствии. – Разве не естественно смотреть на то, что нравится?»

потому трудно считать его созданием одного человека. Организованные рабочие всех олигархий готовы были подняться по первому сигналу. Германия, Италия, Франция и вся Австралазия – в то время государства рабочих с социалистическими правительствами – обещали революции свою помощь, и они действительно оказали ее, поэтому разгром второго восстания стал также и их разгромом. Их правительства были низложены, и объединившиеся олигархии навязали им олигархический строй.

⁶ Джон Каннингхем, отец Эвис Эвергард, был профессором Калифорнийского университета в городе Беркли. С преподаванием физики он совмещал исследовательскую работу, которая принесла ему широкую известность. Выдающимся вкладом в науку явились его изыскания в области природы электрона, а также капитальный труд «Тождество материи и энергии», где было неизбежно и на все времена установлено, что элементарная единица материи и элементарная единица энергии тождественны. Положение это до профессора Каннингхема выдвигалось сэром Оливером Лоджем и другими исследователями радиоактивности, но лишь на правах гипотезы.

⁷ В те времена на спорт смотрели как на средство наживы. Противники избивали друг друга в кулачных поединках, и боксер, убивший товарища или исколотивший его до полусмерти, получал за это кучу денег.

⁸ Намек неясен. Возможно, имеется в виду слепой от рождения негр-музыкант, концерты которого во второй половине XIX в. хр. эры пользовались огромным успехом.

Как я уже говорила, Эрнест ничего не боялся. Это был аристократ по натуре, несмотря на свою принадлежность к совершенно противоположному общественному лагерю. Ницше⁹ узнал бы в нем своего сверхчеловека, или, как он выражался, «белокурую бестию», – с той существенной разницей, что Эрнест отдал сердце демократии.

Занятая гостями, я и думать забыла о неприятном философе из рабочих, но, когда мы сели за стол, мое внимание раз-другой привлекли искорки смеха в его глазах, очевидно, вызванные беседой их преподобий. «Он не лишен юмора», – подумала я и почти простила гостю его нескладный костюм. Но время шло, обед близился к концу, а Эвергард так и не сказал ничего в ответ на бесконечные речи священников о церкви и рабочем классе, о том, что церковь сделала и что собирается сделать для блага рабочих. Я заметила, что папа огорчен упорным молчанием своего протеже. Воспользовавшись небольшой заминкой в разговоре, он прямо обратился к Эрнесту и предложил ему высказать свои соображения. Тот только пожал плечами и равнодушно бросил: «У меня нет никаких соображений», – и после чего с удвоенным усердием занялся соевым миндалем.

Но от папы не так-то легко было отделаться. Немного погодя он заявил:

– Среди нас присутствует представитель рабочего класса. Не сомневаюсь, что мы можем услышать от него много нового и поучительного. Попросим же мистера Эвергарда высказаться.

Все любезно поддержали это предложение. Их преподобия с таким снисходительным видом приготовились слушать молодого оратора, что только-только не хлопали его по плечу. Я заметила, что Эрнест это чувствует и потешается в душе. Он медленно обвел глазами весь стол, и я опять уловила в них искорки смеха.

– Я не искушен в учтивостях церковных словопрений, – начал он и замялся, по-видимому, борясь с робостью и смущением.

– Просим, просим! – раздалось со всех сторон, а доктор Гаммерфилд сказал:

– Мы приветствуем слово истины, от кого бы оно ни исходило. – И прибавил: – Если оно сказано от чистого сердца.

– Так, по-вашему, истина может исходить и не от чистого сердца? – усмехнулся Эрнест.

Доктор Гаммерфилд оторопел, однако вышел из положения:

– Даже лучшие из нас ошибаются, молодой человек, даже лучшие...

Тон Эрнеста мгновенно изменился. Сейчас это был совсем другой человек.

– Отлично, – сказал он резко. – Тогда начну с того, что все вы жестоко ошибаетесь. Никто из вас понятия не имеет о рабочем классе. Мало того, вы на него клеветаете. Ваша социология так же порочна и бесплодна, как и весь ваш метод мышления.

Поражали не столько слова, сколько тон, каким они были сказаны. При звуках этого голоса я встрепенулась. В нем было столько же смелости, сколько и во взгляде Эрнеста. Он звучал как призывный горн и отозвался во мне глубоким волнением. Да и все за столом ожились. Безразличие и сонливость как рукой сняло.

– В чем же, молодой человек, выражается бесплодность и вопиющая порочность нашего метода мышления? – вскинулся Гаммерфилд; ни в его голосе, ни в тоне не осталось и следа прежнего добродушия.

– Вы, господа, метафизики! С помощью метафизики вы можете доказать все, что вашей душе угодно. А доказав, вывести черным по белому, что все остальные метафизики ошибаются, после чего вам останется только почить на лаврах. В сфере мысли вы совершеннейшие анархисты. Вы рехнувшиеся изобретатели космогонических систем. Каждый из вас обитает в собственной вселенной, оборудованной по его собственному вкусу и разумению. Вы плохо

⁹ *Ницше Фридрих* (1844–1900) – бесноватый философ, который в минуты прозрения видел причудливые отблески истины, но, обойдя весь положенный круг человеческой мысли, дофилософствовался до полного безумия.

представляете себе окружающий мир, вашим измышлениям нет места в реальном мире, разве что в качестве примера умственной аберрации.

Знаете ли вы, о чем я думал, сидя за этим столом и слушая ваши бесконечные разговоры? Вы мне напомнили средневековых схоластов, которые самым серьезным образом исследовали и обсуждали животрепещущий вопрос о том, сколько ангелов может уместиться на острие иглы. Вы, дражайшие сэры, так же далеки от интеллектуальной жизни двадцатого столетия, как индеец-шаман, десять тысяч лет назад творивший заклинания в глуши девственного леса.

Казалось, Эрнест охвачен негодованием. Лицо его пылало, глаза метали молнии, в губах и подбородке чувствовалась сосредоточенная ярость. Но такова была его манера спорить – он старался разжечь противника, вывести его из себя. Его размашистые, разящие удары, сокрушительные, как удары кузнечного молота, лишали собеседника самообладания. Это и случилось с нашими гостями. Епископ Морхауз наклонился вперед и ловил каждое слово Эрнеста. Лицо доктора Гаммерфилда побагровело от возмущения и гнева. Возмущение овладело всеми, хотя кое-кто улыбался иронически, с видом насмешливого превосходства. Что касается меня, то я наслаждалась общим смятением. Искоса поглядывая на отца, я видела, что он от души радуется действию бомбы, которая его стараниями попала в нашу столовую.

– Вы выражаетесь крайне туманно, – прервал оратора доктор Гаммерфилд. – Что, собственно, вы хотите сказать, называя нас метафизиками?

– Я называю вас метафизиками потому, что вы рассуждаете как метафизики, – отвечал Эрнест. – Весь ход ваших рассуждений противоречит научному мышлению. Ваши выводы взяты с потолка. Вы можете доказать все, что вам угодно, и это совершенно впустую, так как каждый из вас всегда остается при особом мнении. Вы ищете объяснения Вселенной и самих себя в собственном сознании. Но скорее вы оторветесь от земли, ухватив себя за уши, чем объясните сознание сознанием.

– Я не совсем понимаю, – отозвался епископ Морхауз. – Ведь если говорить о явлениях духовного мира, то все они относятся к области метафизики. Самая точная и убедительная из наук – математика – тоже чистейшая метафизика. Мысль ученого всегда воспаряет в метафизику. С этим-то вы согласны?

– Я согласен, что вы не понимаете, как сами сказали, – возразил Эрнест. – Метафизик в своих рассуждениях пользуется дедуктивным методом, исходит из ложных предпосылок. Ученый же пользуется индуктивным методом, исходит из данных опыта. Метафизик от теории идет к фактам, ученый от фактов – к теории. Метафизик, отправляясь от себя, хочет объяснить весь мир. Ученый, познавая мир, познает самого себя.

– Хвала Создателю, мы не ученые, – самодовольно осклабился доктор Гаммерфилд.

– Кто же вы? – обратился к нему Эрнест.

– Философы.

– Вот именно, – рассмеялся Эрнест. – Вы оторвались от твердой, устойчивой земли и витаєте в облаках, а между тем ваш летательный аппарат – это одна словесность. Но, может быть, вы спуститесь на землю и скажете мне, только поточнее, что называете философией?

– Философия – это... – Доктор Гаммерфилд откашлялся. – Это нечто, что не поддается объяснению и доступно только людям того склада ума, который можно назвать философским. Ограниченный ученый, уткнувшийся в свою пробирку, никогда не поймет, что такое философия.

Но Эрнест презрел этот выпад. Его обычным приемом было бить противника его же оружием, что он теперь и сделал с видом самого братского расположения.

– В таком случае, надеюсь, вы поймете то определение философии, которое я намерен вам предложить. Но только предупреждаю: вам придется либо его опровергнуть, либо сложить оружие и отныне оставаться метафизиком про себя. Философия – это всего лишь наиболее объемлющая из наук. По своему методу она нисколько не отличается от любой точной науки,

равно как и от всех наук вместе взятых. Пользуясь этим методом, а именно методом индуктивным, философия объединяет все знания в одну великую науку. По словам Спенсера, данные каждой отдельной науки представляют собой частицу единого знания. Философия же объединяет те познания, которые составляют вклад отдельных наук. Философия есть, таким образом, наука наук, наука в точном смысле слова, если хотите. Ну, что скажете о моем определении?

– Похвально, весьма похвально, – промямлил доктор Гаммерфилд.

Но Эрнест был неумолим.

– Не забывайте, – предостерег он, – что от этого определения не поздоровится вашей метафизике; раз вы его не опровергаете, значит, вы побитый метафизик и вам больше не подobaет выступать на этом поприще. Придется вам теперь перейти на положение метафизика в отставке или искать изъясна в моих рассуждениях, до тех пор пока вас не осенит счастливая догадка.

Эрнест ждал ответа. Наступило тягостное молчание, особенно томительное для доктора Гаммерфилда. Он, видимо, был даже не столько задет, сколько озадачен. Аргументы Эрнеста, увесистые, как удары кузнечного молота, оглушили его. Прямые и открытые методы спора были ему, очевидно, в новинку. Почтенный доктор жалобно оглядел своих сотрапезников, но ни один не пришел ему на помощь. Я заметила, что папа смеется, закрывшись салфеткой.

– Существует и другой метод дискредитации метафизиков, – продолжал Эрнест, когда поражение доктора Гаммерфилда стало для всех очевидным. – Это судить о них по их делам. Что сделали для человечества метафизики, кроме того, что пичкали его всякими бреднями и выдавали ему свои собственные тени за богов? Развлекали его на все лады? Согласен. Но какую они принесли ощутимую пользу? Они разводили философию – да простится мне неправильное употребление этого слова – по поводу того, что сердце есть вместилище страстей, в то время как ученые исследовали законы кровообращения. Они провозглашали, что голод и чума – это кары небесные, между тем как ученые строили элеваторы и проводили в городах канализацию. Они создавали богов по своему образу и подобию, в то время как ученые строили мосты и прокладывали дороги. Они заявляли, что Земля – пуп Вселенной, а ученые в это время открывали Америку и исследовали пространство в поисках новых звезд и законов, управляющих движением звезд. Словом, метафизики ничего – ровным счетом ничего – не сделали для человечества. По мере того как наука двигалась вперед, метафизики шаг за шагом сдавали свои позиции. Но как только новые научные данные опрокидывали их субъективные теории, они выдумывали новые субъективные теории, предусмотрительно расчистив в них местечко для новооткрытых данных. Этим они и будут пробавляться до скончания века. Метафизики, господа, – это шаманы. Разница между вами и эскимосами, чей бог носит оленью шкуру и питается ворвань, – это тысячелетиями накопленный опыт, и только.

– Мысль Аристотеля владычествовала в Европе двенадцать столетий, – напыщенно провозгласил доктор Боллингфорд. – Хотя Аристотель был метафизиком.

Сказав это, он обвел глазами присутствующих, с удовлетворением отмечая сочувственные улыбки и одобрительные кивки.

– Ваш пример неудачен, – возразил Эрнест. – Вы ссылаетесь на самый темный период истории. Он так и называется: «темное Средневековье». Это был период, когда метафизика подавила науку. Физику она свела к поискам философского камня, химию – к алхимии, астрономию – к астрологии. Ваше «владычество Аристотелевой мысли» – битая карта!

Доктор Боллингфорд явно приуныл. Затем лицо его прояснилось.

– Да, все ужасы, которые вы нам изобразили, бесспорно, имели место. Но согласитесь, что та же метафизика заключала в себе и силы, которые вывели человечество из мрака Средневековья к свету последующих столетий.

– Метафизика тут ни при чем, – отрезал Эрнест.

– Как? – вскричал доктор Гаммерфилд. – Разве умозрительная философия и спекулятивное мышление не породили эру кругосветных путешествий и великих открытий?

Эрнест с улыбкой повернулся к нему.

– Дражайший сэр, вас, помнится, лишили права публичных выступлений. Ведь вы так и не опровергли мое определение философии. Вы теперь у нас на птичьих правах, но так как это участь всех метафизиков, я, так и быть, прощаю вас. Повторяю: не метафизика породила эру великих открытий. Хлеб насущный, шелка, драгоценности, золото, наконец, закрытие сухопутных путей в Индию – вот то, что заставило человека пуститься в плавание к далеким берегам. После падения Константинополя в тысяча четыреста пятьдесят третьем году турки закрыли караванные пути, по которым европейские купцы ездили в Индию. Пришлось искать новые пути. Вот чем было вызвано развитие мореплавания. Вот чем было вызвано и путешествие Колумба. Вы найдете это в любом учебнике истории. А заодно были добыты новые данные о размерах, форме и строении Земли, в результате чего система Птолемея полетела вверх тормашками.

Доктор Гаммерфилд фыркнул.

– Вы не согласны? – обратился к нему Эрнест. – В чем же, скажите, я не прав?

– Я не согласен, вот и все, – огрызнулся доктор Гаммерфилд. – Эта тема завела бы нас слишком далеко в дебри философии.

– Науке не страшны никакие дебри и никакие дали, – кротко ответил Эрнест. – Потому-то она и добилась кой-чего. Потому-то она и открыла Америку.

Я не стану описывать весь вечер, хотя для меня нет большей радости, чем вспоминать каждую подробность моего первого знакомства с Эрнестом Эвергардом.

Битва продолжалась все с тем же ожесточением, и наши гости все больше багровели и кипятились, особенно когда Эрнест стал честить их такими словами, как «горе-философы», «очковтиратели» и тому подобное. И все время он отсылал их к фактам. «Факт, сударь, неопровержимый факт!» – восклицал он торжествуя, уложив противника на обе лопатки. Факты были его оружием. И он засыпал ими противника, загонял в ловушки и ямы, обрушивал на него смертоносный огонь фактов.

– Вы, очевидно, молитесь фактам, – съязвил доктор Гаммерфилд.

– Нет бога, кроме факта, и мистер Эвергард – пророк его, – вторил ему доктор Боллингфорд.

Эрнест весело кивнул в знак согласия.

– Я как тот техасец, – сказал он и, заметив, что от него ждут разъяснений, продолжил: – Уроженец штата Миссури всегда скажет вам: «Не поверю, пока сам не увижу», – техасец же скажет: «Не поверю, пока не подержу в руках». Из чего следует, что он отнюдь не метафизик.

Другой раз, когда Эрнест сказал, что метафизиками утрачен критерий истины, на него насел доктор Гаммерфилд.

– Так что же является критерием истины, молодой человек? Может быть, вы нам скажете? Кстати, на этот вопрос не могли ответить и более мудрые головы.

– Вот то-то и есть, что не могли! – подхватил Эрнест. Его несокрушимая самоуверенность бесила их больше всего. – Эти мудрецы потому не нашли критерия истины, что искали его где-то в эмпириях. Если бы они держались твердой земли, то не только нашли бы его без труда, но и увидели бы, что каждое их действие, каждая мысль является проверкой истины.

– К делу, к делу! – кипятился доктор Гаммерфилд. – Мы обойдемся без предисловий. Вы обещали возвестить нам критерий истины, который мы так долго искали. Просветите же нас, дабы мы уподобились богам.

Открытый вызов и глумление в его словах и тоне, по-видимому, находили отклик в сердцах слушателей, и только епископу Морхаузу было явно не по себе.

– Доктор Джордан¹⁰ определил критерий истины очень точно, – сказал Эрнест. – Он учил: «Проверяйте его в действии. Годится только то, чему вы без страха доверили бы свою жизнь!»

– Пфф! – Доктор Гаммерфилд насмешливо улыбался. – А епископ Беркли?¹¹ Его еще никто не опроверг!

– Король метафизиков! – рассмеялся Эрнест. – Ваш пример неудачен. Беркли и сам не доверял своей метафизике.

Доктор Гаммерфилд пришел в негодование, в священное негодование. Можно было подумать, что он изобличил Эрнеста в воровстве или во лжи.

– Молодой человек, – загремел он. – Ваше утверждение так же возмутительно, как и все, что нам пришлось здесь выслушать. Это низкое и необоснованное утверждение.

– Я уничтожен, убит! – покорно отозвался Эрнест. – Но я хотел бы знать, какой кирпич свалился мне на голову. Нельзя ли подержать его в руках, доктор Гаммерфилд?

– Извольте, извольте! – Доктор Гаммерфилд отчаянно брызгал слюной. – Откуда вы это взяли? Где это сказано, будто бы епископ Беркли сам признавал, что его метафизика порочна? Какие у вас доказательства? Молодой человек, метафизика епископа Беркли живет в веках!

– Доказательство того, что Беркли не доверял своей метафизике, я усматриваю в следующем: Беркли, входя в комнату, всегда и неизменно пользовался дверью, а не лез напролом через стену. Беркли, дорожа своей жизнью и предпочитая действовать наверняка, налегал на хлеб и на масло, не говоря уже о ростбифе. Когда Беркли брился, то обращался к помощи бритвы, ибо на опыте убедился, что она начисто снимает щетину с его лица.

– Но это дела житейские! – воскликнул доктор Гаммерфилд. – Метафизика же ведает сверхчувственным миром.

– Так значит, метафизика надежный кормчий в сверхчувственном мире? – вкрадчиво спросил Эрнест.

Доктор Гаммерфилд усиленно закивал.

– Что же, и сонмы ангелов могут отплясывать на острие иголки – в сверхчувственном мире, – вслух размышлял Эрнест. – И питающийся ворванью, одетый в моржовую шкуру эскимосский божок имеет все права на существование – в сверхчувственном мире. Там это, пожалуй, не встретит никаких возражений. А сами вы, доктор, тоже живете в сверхчувственном мире?

– «Мой разум – мир, где я живу», – ответил доктор.

– Вы хотите сказать, что чужды всему земному, но к обеду, разумеется, не забываете спуститься на землю. И от землетрясения тоже не ищите укрытия в облаках. Кстати, вы не боитесь, доктор, что, случись у нас землетрясение, вас может основательно хватить по вашей нематериальной макушке таким увесистым нематериальным кирпичом?

Доктор Гаммерфилд невольно поднес руку к затылку, где еще можно было разглядеть заросший волосами шрам. Эрнест неожиданно попал в точку. Во время Великого землетрясения¹² доктора Гаммерфилда чуть не убило кирпичной трубой. За столом поднялся дружный хохот.

– Так как же? – продолжал Эрнест, когда оживление улеглось. – Я жду ваших возражений. Все молчали, и он снова сказал:

– Я жду. – А затем добавил: – Что ж, и это аргумент, но только не в вашу пользу.

¹⁰ Видный научный деятель конца XIX – начала XX в. Был ректором Стенфордского университета, основанного на частные средства.

¹¹ Родоначальник идеалистического монизма; его учение, полностью отрицающее материю, ставило в тупик философов того времени; окончательно отвергнуто философией с тех пор, как в ней восторжествовал метод обобщения данных научного опыта.

¹² Так называли землетрясение, разрушившее город Сан-Франциско в 1906 г.

Доктор Гаммерфилд временно выбыл из строя, и вскоре спор перекинулся в другую область. Пункт за пунктом Эрнест разбивал доводы церковников. Когда они заявляли, что знают рабочих, Эрнест доказывал, что им не знакомы простейшие, азбучные истины о положении рабочего класса, и требовал, чтобы они его опровергли. И все время он забрасывал их фактами, напоминал о фактах, возвращал к фактам и реальной действительности.

Эта сцена неизгладимо живет в моей памяти. Голос Эрнеста с его столь знакомыми мне металлическими нотками и сейчас еще звучит в моих ушах, и каждый факт, которым он разит своих противников, кажется мне метким ударом гибкого, жалящего бича. Эрнест был безжалостен: не просил пощады¹³ сам и никого не щадил. Особенно памятна мне взбучка, которую он задал нашим гостям под самый конец.

– Сегодня вы не раз доказали, что не знаете рабочих; некоторые из вас заявляли это прямо, за других говорило невежество их ответов. Впрочем, вас трудно и винить – где уж вам знать рабочих! Вы не живете с ними, а предпочитаете селиться в кварталах богачей. Да почему бы и нет? Ведь богачи и содержат, и кормят вас, и обряжают вот в эту самую добротную одежду, в которой вы сегодня пожаловали сюда. Ну и вы, чтобы не остаться в долгу, расхваливаете ту марку метафизики, которая им всего более по душе. А известно, какая марка философии и религии по душе капиталистам: та, которая не угрожает существующему строю.

Ответом на эти слова был ропот возмущения.

– Я не обвиняю вас в двоедушии, – продолжал Эрнест. – Вы и в самом деле так чувствуете. Вы проповедуете то, во что верите. Этим-то вы и дороги капиталистам, в этом ваша сила. Но стоит вам изменить свой образ мыслей и выступить против существующих порядков, как вам немедленно укажут на дверь: такие проповеди неприемлемы для ваших хозяев. Признайтесь: ведь подобные случаи бывали¹⁴, не правда ли?

На этот раз никто не спорил. Все молчаливо согласилось с оратором, и только доктор Гаммерфилд сказал:

– Указывают на дверь тем, кто сбился с пути истинного.

– Называйте как хотите. Сбиться с пути истинного – это и значит проповедовать то, что не показано, – возразил Эрнест и продолжил: – Так вот что я вам скажу. Проповедуйте, что вам положено, и получайте, что вам причитается. Но только, бога ради, оставьте в покое рабочих. Ваше место – в стане их врагов. У вас с рабочими не может быть ничего общего. Ваши руки изнежены оттого, что за вас работают другие. Вон вы какие тела нагуляли – это от сытой, привольной жизни. – (Доктор Боллингфорд невольно поежился, чувствуя, что все взгляды устремлены на его солидное брюшко, которое, как говорили злые языки, давно уже мешало ему видеть собственные ноги.) – Ваши головы набиты доктринами, полезными для поддержания существующего строя. Вы такие же наемники (преданные наемники, допустим), какими была в свое время швейцарская гвардия¹⁵. Служите же своим хозяевам верой и правдой, стойте на страже их интересов, но не сбивайте с толку рабочих, не обманывайте их своими лжеучениями. Нельзя быть воином двух станов: это прежде всего нечестно. До сих пор рабочий класс обходился без ваших услуг. Поверьте, они ему не понадобятся и в дальнейшем. Напротив, вы не принесете ему ничего, кроме вреда.

¹³ В этом выражении отразился обычай тех времен. Когда один из противников, сцепившихся, подобно диким зверям, в смертельной схватке, складывал оружие, от победителя зависело – умертвить его или оставить ему жизнь.

¹⁴ В те годы немало священников было отлучено от церкви за то, что проповедовали взгляды, неугодные правящим классам, а особенно такие, которые отражали влияние социалистических идей.

¹⁵ Наемная дворцовая стража Людовика XVI, французского короля, казненного народом.

Глава II

Мне и епископу Морхаузу брошен вызов

Когда гости разошлись, отец упал в кресло и от души расхохотался. С тех пор, как мы схоронили матушку, я не видела его таким веселым.

– Ручаюсь, что доктору Гаммерфилду не приходилось еще бывать в такой переделке, – потешался он. – Вот тебе и «учтивости церковных словопрений»! Ты заметила, как этот Эвергард сначала прикинулся овечкой и вдруг обернулся львом рыкающим. А какой дисциплинированный ум! Он мог бы стать прекрасным ученым, только интересы у него направлены не в ту сторону.

Нечего и говорить, что и меня взволновала встреча с Эрнестом Эвергардом. И не только смысл и своеобразная форма его речей, меня заинтересовал сам человек. В нашем кругу не встречались такие люди. Может быть, поэтому я все еще не помышляла серьезно о замужестве, несмотря на свои двадцать четыре года. Эрнест мне нравился, я должна была себе в этом сознаться. И это говорил мне не ум, не рассудок. Невзирая на его атлетическое сложение и шею боксера, я угадывала в нем детски наивную душу. В неукротимом бунтаре скрывалась нежная, чувствительная натура. Трудно сказать, что внушило мне эти мысли, – вернее всего, их подсказало сердце.

Голос Эрнеста, в котором слышался чистый звон металла, проникал мне в душу. Интонации этого голоса все еще звучали в моих ушах, и мне хотелось снова слышать его, ловить искорки смеха в глазах этого человека, лицо которого, казалось, выражало одну лишь решительность и суровость. Встреча эта пробудила во мне и другие, еще смутные и неопределенные, желания и ощущения. Я, может быть, уже тогда полюбила Эрнеста, хотя эти неясные чувства, вероятно, угасли бы без следа, если бы нам не довелось больше встретиться.

Судьба не допустила этого. Этого не допустило новое увлечение моего отца социологией и задуманная им серия обедов. Отец не был социологом по образованию. Его брак с моей матерью был счастливым союзом, а работа в любимой области – физике – давала ему огромное удовлетворение. Но со смертью матушки в жизни его образовалась пустота, которую старые, привычные занятия не могли заполнить. Отец заинтересовался философией – скорее как любитель, а потом серьезно увлекся социологией и политической экономией. В нем всегда было сильно чувство справедливости, а теперь оно стало его главной страстью: он мечтал об уничтожении несправедливости на земле. Я радовалась его возвращению к деятельной жизни, не подозревая, чем это может для него кончиться. С энтузиазмом юноши окунулся он в новую для него сферу, нисколько не задумываясь над тем, куда это может его привести.

Лабораторные занятия были для отца привычной стихией, и теперь он превратил нашу столовую в своего рода социологическую лабораторию. На его обедах бывали люди всех рангов и сословий – ученые, политики, банкиры, коммерсанты, профессора, профсоюзные деятели, социалисты и анархисты. Отец вызывал своих гостей на беседы и споры, а потом анализировал их взгляды на жизнь и общество.

С Эрнестом он познакомился незадолго до нашего «синедриона». В тот вечер, после ухода гостей, отец рассказал мне, как недавно, проходя по улице, остановился послушать агитатора, обращавшегося к толпе рабочих. Это и был Эрнест. Впрочем, Эрнест был не только агитатором: он занимал видное положение в социалистической партии, его считали авторитетом в вопросах социалистической философии. Он умел ясно излагать самые сложные вещи и, будучи прирожденным учителем и пропагандистом, не пренебрегал и уличной трибуной, стремясь к распространению среди рабочих экономических знаний.

Заинтересовавшись молодым оратором, отец тут же условился с ним о новой встрече, а затем, как знакомого, пригласил на обед с представителями церкви. И только после обеда он рассказал мне то небольшое, что успел узнать о новом приятеле.

Эрнест родился в рабочей среде, несмотря на то что род его, восходивший к американским пионерам, уже двести с лишним лет как поселился в Америке¹⁶. Десятилетним мальчуганом Эрнест поступил на фабрику, выучился кузнечному делу и работал кузнецом. Он не получил систематического образования, но, занимаясь самостоятельно, изучил даже французский и немецкий языки, и теперь перебивался переводами научных и философских книг для небольшого чикагского социалистического издательства. Кое-какие крохи приносили ему его собственные брошюры по вопросам философии и экономики, весьма туго распродававшиеся.

Все это я узнала в тот самый вечер и потом долго не могла уснуть, взволнованная новыми впечатлениями, прислушиваясь к мощному голосу, который не переставал звучать в моих ушах. Я непрестанно думала об Эрнесте и сама пугалась своих мыслей. Этот человек был так непохож на тех, кого я знала, от него веяло незнакомой, суровой силой. Его властность и привлекала, и страшила меня, так как, отдавшись вольной игре воображения, я уже рисовала его себе своим возлюбленным, своим мужем. Я часто слышала, что сила в мужчине неотразимо привлекает женщин. Но этот человек был слишком силен. «Нет, нет, – восклицала я, – невозможно, невозможно!» Но утром я уже опять мечтала о новой встрече с Эрнестом. Я жаждала вновь увидеть его в горячей схватке с противниками, услышать звон металла в его голосе, наблюдать, с какой уверенностью и силой он расправляется со своими оппонентами, выколачивая из них спесь и самодовольство, как расшатывает их привычные верования и убеждения. Пусть он не знает удержу. Говоря его собственными словами, это «действует», дает результаты. Его стремительность увлекала за собой, волновала, словно звуки трубы перед атакой.

Прошло несколько дней. За это время я познакомилась с теми книжками Эрнеста, которые нашлись у папы. Писал он так же, как говорил, – ясно и убедительно. Вы могли не соглашаться с ним, но вас невольно восхищала простота и прозрачность его слога. Мысль его работала необыкновенно четко. Это был популяризатор по призванию, но, несмотря на все достоинства изложения, со многим в его писаниях я не могла согласиться. Он слишком подчеркивал то, что называл классово-борьбой, антагонизмом между трудом и капиталом, столкновением интересов.

Папа сообщил мне, посмеиваясь, что доктор Гаммерфилд отозвался об Эрнесте как о «дерзком щенке, который возомнил о себе, начитавшись плохих книжек». Почтенный пастырь наотрез отказался от дальнейших встреч с Эрнестом.

Зато епископ Морхауз проявлял интерес к молодому агитатору и очень хотел еще раз встретиться с ним. «Энергичный юноша, – сказал он отцу, – в нем много жизни, много сил, но только очень уж самоуверен».

Как-то вечером отец опять привел к нам Эрнеста. Пришел и епископ, и нам подали чай на веранде. Здесь уместно пояснить, что затянувшееся пребывание Эрнеста в нашем городе было вызвано тем, что он слушал в университете специальный курс биологии, а кроме того, прилежно работал над своей книгой «Философия и революция»¹⁷.

До чего же тесной показалась мне наша веранда с появлением на ней Эрнеста! Собственно, он был не такой уж высокий – пять футов девять дюймов, – но все как-то тускло и терялось рядом с ним. Здороваясь со мной, он заметно смутился, и меня удивила застенчивая неуклюжесть его поклона, не вязавшаяся ни с его решительным взглядом, ни с крепким

¹⁶ В то время между коренным населением США и пришлым элементом проводилось резкое и оскорбительное различие.

¹⁷ В течение трехсотлетнего владычества Железной пяты эта книга неоднократно выходила в подпольных изданиях. Несколько экземпляров ее хранятся в Ардисе, в Национальной библиотеке.

рукопожатием. И опять его глаза смело и уверенно заглянули в мои. На этот раз я прочла в них вопрос, и снова он слишком пристально смотрел на меня.

– Я прочла вашу «Философию рабочего класса», – сказала я.

Глаза Эрнеста потеплели.

– Надеюсь, вы приняли во внимание, что эта книжка рассчитана на определенную аудиторию? – сказал он.

– Да, и как раз поэтому я хочу с вами поспорить, – продолжила я отважно.

– Я тоже хочу с вами поспорить, мистер Эвергард, – вставил епископ Морхауз.

Эрнест слегка пожал плечами и принял из моих рук чашку чая.

Епископ легким поклоном в мою сторону дал понять, что просит меня говорить первой.

– Вы разжигаете классовую ненависть, – начала я. – Я считаю недостойным и даже преступным такое обращение к самым темным инстинктам рабочего класса, к его ограниченности и жестокости. Классовая ненависть – это чувство антисоциальное; что общего может быть между ней и социализмом?

– Не виновен ни словом, ни помышлением, – возразил Эрнест. – Ни в одной из моих книг нет ни строчки о классовой ненависти.

– Полноте! – воскликнула я с упреком и, достав брошюру, принялась перелистывать ее.

Он спокойно пил чай и с улыбкой поглядывал на меня.

– Вот, страница сто тридцать вторая, – приступила я к чтению. – «На современном этапе общественного развития отношения между классом, покупающим рабочую силу, и классом, продающим ее, принимают характер классовой борьбы».

Я посмотрела на Эрнеста с торжеством.

– Тут ни слова нет о классовой ненависти, – сказал он, улыбаясь.

– Но разве здесь не сказано: классовая борьба?

– Так это же разные вещи, – возразил Эрнест. – Поверьте, мы не разжигаем ненависть. Мы говорим, что классовая борьба – это закон общественного развития. Не мы несем за нее ответственность, не мы ее породили. Мы только исследуем ее законы, как Ньютон исследовал законы земного притяжения. Мы объясняем, в чем существо противоречивых интересов, столкновение которых приводит к классовой борьбе.

– Но никаких противоречий быть не должно! – воскликнула я.

– Согласен, – ответил Эрнест. – Мы, социалисты, и добиваемся устранения этих противоречий. Разрешите мне прочитать вам небольшой отрывок. – Он взял книжку и полистал. – Страница сто двадцать шестая: «Период классовой борьбы, возникающий с распадом первобытного коммунизма и переходом к периоду накопления частной собственности, должен завершиться обобществлением частной собственности...»

– Позвольте мне все же с вами не согласиться, – вмешался епископ. Легкий румянец на его бледном аскетическом лице казался отблеском внутреннего огня. – Я отвергаю ваше исходное положение. Между интересами капитала и труда нет противоречий – во всяком случае, не должно быть.

– Покорнейше благодарю, – ответил Эрнест, на этот раз с величайшей серьезностью. – Ваши последние слова только подкрепляют мое исходное положение.

– Да и откуда бы взяться этому противоречию? – допытывался епископ.

Эрнест развел руками:

– Вероятно, люди так устроены.

– Нет, люди не так устроены! – горячился епископ.

– Кого же вы имеете в виду? – спросил Эрнест. – Быть может, вам мерещатся какие-то идеальные натуры, чуждые корысти и мирских интересов? Но ведь это столь редкостные явления, что о них и говорить не стоит. Или вы имеете в виду обыкновенного, рядового человека?

– Я имею в виду обыкновенного, рядового человека, – последовал ответ.

– Наделенного слабостями, склонного к ошибкам и заблуждениям?

Епископ кивнул.

– Мелочного, эгоистичного?

Епископ снова кивнул.

– Берегитесь! – воскликнул Эрнест. – Я сказал «эгоистичного».

– Средний человек эгоистичен, – храбро подтвердил епископ.

– Ему сколько ни дай, все мало!..

– Да, ему сколько ни дай, все мало... Как это ни прискорбно, я согласен с вами.

– Ну, тогда вы попались! – Челюсти Эрнеста грозно сомкнулись, точно захлопнулась ловушка. – Смотрите сами. Возьмем человека, работающего, скажем, в трамвайной компании.

– Эту работу предоставил ему капитал, – ввернул епископ.

– Правильно, но капитал не мог бы существовать без рабочих, обеспечивающих ему дивиденды.

Епископ промолчал.

– Согласны?

Епископ кивнул.

– В таком случае мы квиты и можем начать сначала. – Тон у Эрнеста был самый деловой. – Итак, трамвайные рабочие дают свой труд. Акционеры дают капитал. Совместными усилиями труда и капитала создается новая стоимость¹⁸. Она делится между рабочими и предпринимателями. Доля капитала называется дивидендами, доля труда – заработной платой.

– Совершенно верно, – сказал епископ. – Но почему же этот дележ не может быть полюбовным?

– Вы забыли, с чего мы начали, – возразил Эрнест. – Мы установили, что средний человек – эгоист. Нас ведь интересуют настоящие, живые люди. Вы же опять вознеслись в эмпирии и говорите о бескорыстных существах, достойных всякой похвалы, но не существующих в природе. Спустившись на землю, мы должны сказать, что рабочий, будучи обыкновенным смертным, хочет получить при дележе возможно большую долю. Капиталист тоже норовит получить возможно больше. Но там, где разделу подлежат точно определенные, реальные ценности и где та и другая сторона хочет получить большую долю, неминуемо возникает столкновение интересов. Вот вам и конфликт между трудом и капиталом. И, надо сказать, конфликт неразрешимый. До тех пор, пока существуют труд и капитал, будут существовать разногласия между ними в вопросе о разделе материальных благ. Если бы вы сегодня оказались в Сан-Франциско, вам пришлось бы передвигаться пешком. Сегодня на линию не вышел ни один вагон.

– Опять забастовка?¹⁹ – горестно воскликнул епископ.

– Да. Очередные разногласия у рабочих и трамвайной компании по вопросу о заработной плате.

Епископ Морхауз был вне себя от огорчения.

– Какая пагубная ошибка!.. – воскликнул он. – Как это недальновидно со стороны рабочих. Разве могут они надеяться на сочувствие, если...

– Если заставляют нас ходить пешком, – лукаво подсказал ему Эрнест.

Но епископ пропустил мимо ушей его замечание.

– Это непростительная ограниченность и узость. Человек не должен становиться диким зверем. Опять насилие, убийство! Сколько безутешных вдов, бесприютных сирот! Рабочим и

¹⁸ В те времена объединения частных собственников грабительски присваивали себе все средства передвижения и за пользование ими взимали с населения плату.

¹⁹ Такие неурядицы были частым явлением в те времена неразумной анархической системы: то рабочие отказывались выходить на работу, то капиталисты отказывались допускать их к работе. Возникали беспорядки и акты насилия, отчего гибло много ценного имущества и человеческих жизней. Все это в такой же мере непонятно нам, как и распространенное в ту пору среди низших классов явление, когда муж, обложившись на жену, бил посуду и ломал мебель.

предпринимателям следовало бы быть верными союзниками. Они должны работать дружно, это выгодней и для тех и для других.

– Опять вы парите в небесах, – холодно остановил его Эрнест. – Вернитесь на землю. Вспомните: человек эгоистичен.

– Но этого не должно быть! – воскликнул епископ.

– Согласен, – последовал ответ. – Человек не должен быть эгоистом, но он останется им при социальной системе, основанной на неприкрытом свинстве.

У епископа перехватило дыхание. Папа втихомолку смеялся.

– Да, неприкрытое свинство, – продолжал неумолимо Эрнест, – вот истинная сущность капиталистической системы. И вот за что ругает ваша церковь, вот что и сами вы проповедуете, всходя на кафедру. Свинство! Другого названия не подберешь.

Епископ жалобно посмотрел на отца, но тот, все так же смеясь, энергично закивал.

– Боюсь, что мистер Эвергард прав, – сказал он. – У нас господствует принцип «Laissez faire», иначе говоря – «Каждый за себя, черт за всех». Как мистер Эвергард говорил в прошлый раз, церковь стоит на страже существующего порядка, а основа этого порядка именно такова.

– Христос не этому учил нас! – воскликнул епископ.

– Нынешней церкви нет дела до учения Христа, – вмешался Эрнест. – Потому-то она и растеряла своих приверженцев среди рабочих. В наши дни церковь поддерживает ту чудовищную, зверскую систему эксплуатации, которую установил класс капиталистов.

– Нет, церковь ее не поддерживает, – настаивал епископ.

– Но она и не восстает против нее. А раз так, значит, она эту систему поддерживает. Да оно и естественно, ведь церковь существует на средства капиталистов.

– Мне это никогда не приходило в голову, – простодушно возразил епископ. – Думаю, что вы не правы. Я знаю, в этом мире немало тяжелого и несправедливого. Знаю, что церковь утратила часть своих сынов – так называемый «пролетариат»...²⁰

– Пролетариат никогда не был вашим, – загремел Эрнест. – Он рос вне церкви, церковь меньше всего им занималась.

– Я вас не понимаю, – пролепетал епископ.

– А не понимаете, так я объясню вам. Вам, конечно, известно, что с появлением машин и возникновением фабрик во второй половине восемнадцатого века огромное большинство трудящегося населения было оторвано от земли. Условия труда в корне изменились. Бросив родные деревни, рабочий люд вынужден был селиться в тесных, скученных кварталах больших городов. Не только мужчины, но и матери семейств и дети были приставлены к машинам. Рабочий не имел семьи. Его жизнь была ужасна. Эти страницы истории залиты кровью.

– Знаю, знаю, – перебил его епископ, страдальчески морщась. – Все это ужасно. Но это было полтора века назад.

– Полтора века назад и возник современный пролетариат, – подхватил Эрнест. – А где была тогда церковь? Капитал погнал на бойню чуть ли не целый народ, а как отнеслась к этому церковь? Церковь молчала. Она не протестовала, как и сейчас не протестует. Вспомните, что говорит по этому поводу Остин Льюис²¹: «Те, кому было заповедано: „Пасите овец моих“, – спокойно смотрели, как их овец продавали в рабство и замучивали до смерти тяжелой рабо-

²⁰ *Пролетариат* – от лат. proletarii. Под этим названием в цензовом кодексе Сервия Туллия значились те римские жители, которые ничего не могли дать государству, кроме своего потомства (proles). Это были люди, не имевшие ни состояния, ни общественного положения, а также не выделявшиеся из общей массы своими способностями.

²¹ Кандидат социалистов на пост калифорнийского губернатора во время выборов 1906 г.; англичанин по рождению, автор многих книг по философии и политической экономии, Льюис был одним из руководящих социалистических деятелей своего времени.

той»²². В эти страшные годы церковь безмолвствовала. Но прежде чем продолжать, я хочу, чтобы вы мне ответили: согласны вы со мной или не согласны? Так это или не так?

Епископ колебался: он не привык к тактике «лобовой атаки», как называл ее Эрнест.

– История восемнадцатого века уже написана, – настаивал Эрнест. – Если бы церковь что-нибудь сделала в те времена, об этом можно было бы прочитать в книгах.

– Боюсь, что церковь действительно молчала, – вынужден был признать епископ.

– Сегодня она также молчит.

– Нет, с этим я не могу согласиться, – возразил епископ.

Эрнест не сразу ответил. Он испытующе посмотрел на своего собеседника, потом, видно, принял решение.

– Ладно, – сказал он, – посмотрим. В чикагских швейных мастерских женщины за целую неделю работы получают девяносто центов. Протестовала против этого церковь?

– Для меня это новость. Девяносто центов! Неслыханно, ужасно!

– Протестовала церковь? – повторил Эрнест.

– Церкви это неизвестно, – отчаянно защищался епископ.

– А разве не церкви было заповедано: «Пасите овец моих»? – издевался Эрнест. И тут же спохватился: – Простите, епископ, но с вами всякое терпение теряешь. А протестовали вы, обращаясь к своим богатым прихожанам, против применения детского труда на текстильных фабриках Юга?²³ Знаете ли вы, что шести-семилетние дети работают там в ночную смену, и это сплошь и рядом – при двенадцатичасовом рабочем дне? Они никогда не видят солнца. Они мрут, как мухи. Дивиденды выплачиваются их кровью. Зато потом где-нибудь в Новой Англии на эти самые дивиденды вам выстроят роскошные церкви, чтобы ваш брат священник лепетал с амвона этим держателям дивидендов, гладким и толстопузым, всякие умильные пошлости!

– Я ничего этого не знал, – чуть слышно прошептал епископ, побледнев и, казалось, борясь с тошнотой.

– Стало быть, вы не протестовали?

Епископ отрицательно покачал головой.

– Стало быть, церковь и ныне безмолвствует, как в восемнадцатом веке?

Епископ опять промолчал, но Эрнест и не настаивал на ответе.

– Кстати, не забудьте, что, если бы священник и осмелился протестовать, ему пришлось бы немедленно распротеститься со своей кафедрой и приходом.

²² Чудовищная эксплуатация женщин и детей на английских фабриках во второй половине XVIII в. представляет собой один из самых страшных и позорных эпизодов человеческой истории; крупнейшие состояния того времени возникли в этой преисподней английской промышленности.

²³ Эвергард мог бы привести и более яркие примеры, вспомнив, как церковь на Юге открыто ратовала за рабовладение в годы, предшествовавшие так называемой «Гражданской войне». Приведем здесь несколько примеров из документов того времени. В 1835 г. Всеамериканский собор пресвитерианской церкви постановил: «Рабство признано как Ветхим, так и Новым Заветом и, следовательно, не противоречит воле Всевышнего». В том же 1835 г. Чарлстонская община баптистов в своем обращении к верующим провозгласила: «Право господина располагать временем своих рабов освящено Творцом всего сущего, ибо он волен любое свое творение передать в собственность кому пожелает». Его преподобие И. Д. Саймон, доктор богословия и профессор Рандолф-Мэконского методистского колледжа в Виргинии, писал: «Текстами Священного Писания непререкаемо утверждается право рабовладения со всеми вытекающими из него последствиями. Право купли и продажи рабов установлено с полной ясностью. Обратимся ли мы к еврейскому закону, дарованному самим Господом Богом, или же к общепринятым воззрениям и обычаям всех времен и народов, или же к предписаниям Нового Завета и его нравственному учению – повсюду находим доказательства того, что в рабовладении нет ничего безнравственного. Поскольку первые рабы, привезенные в Америку из Африки, были законно проданы в рабство, в рабстве должны оставаться и их потомки. Все это убеждает нас в том, что рабовладение в Америке освящено законом». Естественно, что, выступая несколько десятилетий спустя в защиту капиталистической собственности, церковь прибегала к таким же доводам. В богатейшем Эсгардском книгохранилище имеется труд некоего Генри Ван Дейка, изданный в 1905 г. под заглавием «Опыты толкования». Очевидно, Ван Дейк был видным церковником. Книга его – яркий образец того, что Эвергард назвал бы «буржуазным мышлением». Сравните заявление чарлстонских баптистов со следующим заявлением Ван Дейка, сделанным семьдесят лет спустя: «Библия учит нас, что Господь – владыка мира, а следовательно, он волен одарить каждого из живущих по своему соизволению, в согласии с существующими законами».

– По-моему, вы преувеличиваете, – кротко заметил епископ.

– И вы решились бы протестовать? – спросил Эрнест.

– Укажите мне подобные факты в нашей общине, и я буду протестовать.

– Я покажу их вам, – спокойно сказал Эрнест. – Можете располагать мной. Я проведу вас через ад.

– Хорошо. И тогда я буду протестовать. – Епископ выпрямился в своем кресле, его кроткое лицо выражало решимость воина. – Церковь больше не будет безмолвствовать!

– Вас лишат сана, – предостерег Эрнест.

– Я докажу вам обратное, – ответил епископ. – Если все, что вы говорите, правда, я докажу вам, что церковь заблуждалась по неведению. Мало того, я уверен, что все ужасы нашего промышленного века объясняются полным неведением, в коем пребывает и класс капиталистов. Увидите, как все изменится, едва до него дойдет эта весть. А долг принести ему эту весть лежит на церкви.

Эрнест рассмеялся. Грубая беспощадность этого смеха заставила меня вступить за епископа.

– Не забывайте, – сказала я, – что вам знакома только одна сторона медали. В нас тоже много хорошего, хоть мы и кажемся вам закоренелыми злодеями. Епископ прав: те ужасы, которые вы здесь рисовали, мало кому известны. Вся беда в том, что пропасть, разделяющая общественные классы, слишком уж велика.

– Дикари индейцы не так жестоки и кровожадны, как ваши капиталисты, – ответил Эрнест.

В эту минуту я ненавидела его.

– Вы нас не знаете. Совсем мы не жестоки и не кровожадны!

– Докажите! – В голосе его прозвучал вызов.

– Как могу я доказать это... вам? – Я не на шутку рассердилась.

Эрнест покачал головой.

– Мне вы можете не доказывать – докажите себе.

– Я и без того знаю.

– Ничего вы не знаете, – отрезал он грубо.

– Дети, дети, не ссорьтесь, – попробовал успокоить нас папа.

– Мне дела нет... – начала я возмущенно, но Эрнест прервал меня:

– Насколько мне известно, вы или ваш отец, что одно и то же, состоите акционерами Сьеррской компании.

– Какое это имеет отношение к нашему спору? – с негодованием спросила я.

– Ровно никакого, если не считать того, что платье, которое вы носите, забрызгано кровью; пища, которую вы едите, приправлена кровью; кровь малых детей и сильных мужчин стекает вот с этого потолка. Стоит мне закрыть глаза, и я явственно слышу, как она капля за каплей заливает все вокруг.

Он и в самом деле закрыл глаза и откинулся на спинку кресла. Слезы обиды и оскорбленного тщеславия брызнули из моих глаз. Никто еще не обращался со мной так грубо. Поведение Эрнеста смутило даже папу, не говоря уж о добряке епископе. Они тактично старались перевести разговор в другое русло, но не тут-то было. Эрнест открыл глаза, посмотрел на меня в упор и жестом попросил их замолчать. В углах его рта залегла суровая складка, в глазах – ни искорки смеха. Что он хотел сказать, какую готовил мне казнь, я так и не узнала, ибо в эту самую минуту кто-то внизу, на тротуаре, остановился у нашего дома и посмотрел на нас. Это был рослый мужчина, бедно одетый, который тащил на спине гору плетеной мебели – стульев, этажерок, ширм. Он оглядывал наш дом, видимо, раздумывая, стоит или не стоит предлагать здесь свой товар.

– Этого человека зовут Джексон, – сказал Эрнест.

– Такому здоровяку следовало бы работать, а не торговать взвон²⁴, – раздраженно отозвалась я.

– Взгляните на его левый рукав, – мягко сказал Эрнест.

Я взглянула – рукав был пустой.

– За кровь этого человека вы тоже в ответе, – все так же миролюбиво продолжал Эрнест. – Джексон потерял руку на работе, он старый рабочий Сьеррской компании, однако вы, не задумываясь, выбросили его на улицу, как гонят со двора разбитую клячу. Когда я говорю «вы», то имею в виду вашу администрацию, всех тех, кому акционеры Сьеррской компании поручили управлять своим предприятием, кому они платят жалованье. Джексон – жертва несчастного случая. Его погубило желание сберечь компании несколько долларов. Ему бы оставить без внимания кусочек кремня, попавший в зубья барабана: поломались бы два ряда спиц, зато рука была бы цела, – а Джексон потянулся за кремнем; вот ему и размозжило руку по самое плечо. Дело было ночью. Работали сверхурочно. Те месяцы принесли акционерам особенно жирные прибыли. Джексон простоял у машины много часов, мускулы его потеряли упругость и гибкость, движения замедлились. Тут-то его и зацапала машина. А ведь у него жена и трое детей.

– Что же сделала для него компания? – спросила я.

– Ничего. Виноват! Кое-что сделала: она опротестовала иск Джексона о возмещении за увечье, предъявленный после выхода из больницы. К услугам компании, как вам известно, опытнейшие юристы.

– Вы освещаете дело односторонне, – уверенно сказала я. – Может, вам не все известно. Человек этот, должно быть, дерзко вел себя.

– Дерзко вел себя? Ха-ха-ха! – саркастически рассмеялся Эрнест. – Человек с начисто отхваченной рукой осмелился кому-то дерзить! Нет, Джексон смирный, безответный малый. Таких художеств за ним не водится.

– А суд? – не сдавалась я. – Если бы все было так, как вы говорите, дело не решилось бы против Джексона.

– Главный юрисконсульт компании, полковник Ингрэм, весьма искушенный юрист. – С минуту Эрнест пристально смотрел на меня, потом сказал: – Вот, мисс Каннингхем, вам бы заняться делом Джексона. Расследуйте этот судебный казус.

– Я и без вашего совета собиралась это сделать, – холодно ответила я.

– Прекрасно. – Он смотрел на меня с подкупающим добродушием. – Я расскажу, где его найти, но только мне страшно подумать, что раскроет вам рука Джексона.

Так мы с епископом Морхаузом оба приняли вызов Эрнеста. Вскоре гости ушли, оставив меня с щемящим чувством обиды: мне и моему классу было нанесено незаслуженное оскорбление. Я решила, что человек этот просто чудовище. Я ненавидела его всей душой, но утешала себя тем, что такое поведение естественно для бывшего рабочего.

²⁴ В те времена тысячи полунищих торговцев ходили из дома в дом, предлагая свой товар. Это было, разумеется, нецелесообразным расходом человеческих сил. В сфере распределения наблюдалась та же бессистемность и хаотичность, которая характеризовала весь общественный уклад в целом.

Глава III

Рука Джексона

Могла ли я думать, отправляясь на поиски Джексона, что рука его сыграет в моей жизни такую огромную роль?

Сам Джексон не произвел на меня большого впечатления. Он ютился с семьей в покосившейся хибарке²⁵, на окраине города, у самого залива, в тесном соседстве с болотом. Вокруг домика, в огромных лужах, затянутых густой зеленоватой пеной, гнила стоячая вода, распространяя невыносимую вонь.

Джексон оказался именно тем тихим безответным малым, каким описал его Эрнест. Он что-то мастерил во время нашего разговора и ни на минуту не отрывался от своей работы. Но как он ни был кроток и забит, мне все же почудились нотки озлобления в его голосе, когда он сказал:

– Уж местечко сторожа²⁶ они могли бы мне дать.

Он разговаривал неохотно и мог показаться тупицей, если бы не та ловкость, с какой работал, управляясь одной рукой. Наблюдая за его проворными движениями, я с удивлением спросила:

– Как же это вы так оплошали, Джексон, что ухитрились потерять руку?

Он задумчиво посмотрел на меня и покачал головой:

– Сам не знаю. Так уж получилось.

– Неосторожность? – не отставала я.

– Нет, – отвечал он. – Я бы не сказал. Нас тогда замучили сверхурочной работой, и я, видно, устал. Я ведь семнадцать лет оттрубил на этой фабрике и скажу вам, что большинство несчастных случаев бывает как раз перед гудком²⁷. За весь рабочий день их не наберется столько. Когда много часов прстоишь у машины, всякое соображение теряешь. На моей памяти сколько народу перекалечило! Иной раз так изувечит человека, что родная мать не узнает.

– И много произошло таких случаев?

– Сотни. С ребяташками тоже бывает.

За исключением этих страшных подробностей рассказ Джексона не дал мне ничего нового. На мой вопрос, не погрешил ли он против правил обращения с машиной, Джексон отрицательно покачал головой.

– Я правой рукой сбросил привод, а левой думал выхватить кремень. Мне бы, конечно, надо проверить, точно ли я освободил колесо. А я понадеялся на себя, вот в чем моя ошибка. Ремень соскочил только наполовину, и мне втянуло левую руку по самое плечо.

– Больно было? – посочувствовала я.

– Да уж что хорошего, когда машина дробит тебе кости.

²⁵ Ветхий облезлый домишко – обычное жилье рабочего, за которое вносилась домохозяйину непомерно высокая плата, нимало не соответствовавшая стоимости такого помещения.

²⁶ Воровство было в те времена повальным явлением. Каждый старался украсть у другого. Богатые и сильные воровали на законном основании или так или иначе узаконивали свое воровство; бедняки воровали, невзирая на закон. Чтобы уберечь имущество от воров, приходилось нанимать сторожей, и много людей было занято тем, что стерегли чужое добро. Дом каждого более или менее зажиточного человека представлял собой своеобразное сочетание банковского сейфа, кладовой и крепости. В тех случаях, когда у наших детей проявляется желание завладеть чужой вещью, мы, очевидно, имеем дело с пережитком этой столь распространенной когда-то страсти к хищениям.

²⁷ Рабочих сзывал на работу и провожал с работы пронзительный, режущий слух свист паровой машины.

Джексон плохо представлял себе, что было на суде, и только повторял, что суд «ничего ему не присудил». Он считал, что ему повредили показания мастеров и главного управляющего. «Не по совести они показывали», – повторял он. Я решила допросить этих свидетелей.

Одно не подлежало сомнению: положение Джексона самое бедственное. Жена у него постоянно хворает, а сам он своей торговлей не может прокормить семью. Они много задолжали за квартиру, и старший мальчуган, лет одиннадцати, недавно поступил на фабрику.

– Уж местечко сторожа они могли бы для меня найти, – сказал мне Джексон, прощаясь.

Последующие свидания с адвокатом Джексона, который так неудачно защищал его интересы, а также с мастерами и управляющим, выступавшими свидетелями на суде, убедили меня, что Эрнест не далек от истины в своих предположениях.

Адвокат, шуплое, загнанное существо, производил впечатление законченного неудачника. Глядя на него, я не удивилась, что он проиграл дело Джексона, и подумала: ведь надо же было выбрать себе такого адвоката. Но мне вспомнились два замечания Эрнеста: «К услугам Компании, как вам известно, опытнейшие юристы» и «Полковник Ингрэм – весьма искушенный юрист». Я только сейчас поняла, что Компании легче заручиться содействием юридических светил, чем бедняку рабочему. Но все это, как я догадывалась, играло второстепенную роль. Существовали гораздо более серьезные причины, чтобы Джексону было отказано в иске.

– Почему вы проиграли дело? – спросила я адвоката.

Первое мгновение он как-то съезжился и растерялся; во мне пробудилось даже что-то вроде жалости к этому тщедушному созданию. Потом начал ныть. Нытье, вероятно, было его естественным состоянием. Казалось, невезение преследовало этого человека с колыбели. Он пожаловался на свидетелей. Все их показания были на руку ответчику. Он не мог вытянуть из них ни одного слова в пользу своего клиента. Это народ ученый, они знают, что к чему. Джексон – болван. Полковнику Ингрэму ничего не стоило запугать его и сбить с толку. С полковником Ингрэмом не потягаешься, он – король перекрестного допроса. Ему удалось добиться от Джексона убийственных для дела показаний.

– Как мог Джексон дать убийственные для себя показания? Ведь прав-то был он?

– Что значит «прав»? – ответил он вопросом на вопрос. – Видите эти книги? – И он показал на ряды полок, тянувшиеся вдоль стен его крошечной конторы. – Все это мной изучено от корки до корки. Зато я теперь знаю, что одно дело – правда, а другое – закон. Спросите любого юриста. Что такое правда, вам расскажут в воскресной школе, а закон – он здесь, в этих книгах.

– Вы хотите сказать, что Джексон был прав, но что это не помешало ему проиграть дело? Вы хотите сказать, что судья Колдуэлл судит не по правде?

Адвокат вызывающе уставился на меня, но постепенно воинственный задор потух в его глазах.

– Поймите и меня тоже, – захныкал опять он. – Ведь они разыграли не только Джексона, они и меня оставили в дураках. Поймите, в каком я оказался положении. Полковник Ингрэм – светило юридического мира. Если б он не был светилом, думаете, Сьеррская компания поручала бы ему свои дела? И не только Сьеррская, а и Эрстоновский земельный синдикат, Берклийское акционерное общество и три электрокомпании – Окленд, Сан-Леандро и Плезантонская. Он поверенный корпораций, а поверенные корпораций получают большие оклады не для того, чтобы проваливать дела в суде²⁸. Как вы думаете, почему одна только Сьеррская компа-

²⁸ Обязанности поверенных корпораций заключались в том, чтобы при помощи жульнических махинаций служить грабительским замыслам и планам своих хозяев. Сохранилось интересное свидетельство Теодора Рузвельта, в то время президента Соединенных Штатов. В 1905 г., на выпускных торжествах в Гарвардском университете, он сказал: «Ни для кого не секрет, что у большинства наших крупных предприятий имеются высокооплачиваемые юристы, чьи остроумные и смелые советы позволяют их богатым клиентам, будь то отдельные лица или корпорации, успешно обходить законы, принятые в интересах общества для упорядочения деятельности крупного капитала».

ния платит полковнику Ингрэму двадцать тысяч в год? Потому что он стоит этих денег! Я не стою таких денег. Если бы я стоил хотя бы половину, то не промышлял бы чем Бог пошлет и не брался за такие дела, как иск Джексона. Как вы думаете, много бы я заработал, выиграв это дело?

– Очевидно, вы обокрали бы Джексона, – ответила я.

– Можете не сомневаться, – рассердился адвокат. – Жить-то мне надо, как вы полагаете?²⁹

– Но у него жена и дети, – пожурила я его.

– А у меня, думаете, нет жены и детей? И ни одна душа, кроме меня, не заботится о том, есть ли у них кусок хлеба.

Лицо его внезапно посветлело, он достал часы и показал мне на внутренней стороне крышки карточку женщины с двумя девочками.

– Вот они. Взгляните. Нелегко им живется, бедняжкам. Я мечтал отправить их на дачу, если бы удалось выиграть дело Джексона. Они у нас все хворают. Но какая там дача! На это нужны средства.

Когда я собралась уходить, он опять занял:

– Ничего бы у меня не вышло, так или иначе. Полковник Ингрэм и судья Колдуэлл – добрые друзья. Конечно, этим еще не все сказано: если бы мне удалось на перекрестном допросе вытянуть из свидетелей благоприятные показания, не дружба их решила бы дело. Но судья Колдуэлл не пожалел сил, чтобы не допустить таких показаний. Да и неудивительно. Судья Колдуэлл и полковник Ингрэм – члены одной ложи и одного клуба, да и живут рядом. Мне было бы не по карману поселиться с ними по соседству. И жены их бывают друг у друга. Постоянно званые вечера, вист и все такое – то у одной, то у другой.

– Так Джексон все-таки был прав? – спросила я уже с порога.

– Еще бы! Сначала я даже верил, что можно выиграть это дело, но жене не говорил – из осторожности, знаете, чтобы зря не волновать ее. Очень уж ей, бедняжке, хотелось на дачу.

– Почему вы не сказали суду, что Джексон старался спасти машину? – спросила я Питера Донелли, одного из мастеров, дававших показания на суде.

Он долго думал, прежде чем ответить, потом боязливо огляделся и сказал:

– Потому что у меня славная жена и трое ребятишек – таких ребят поискать надо, – вот почему!

– Я вас не понимаю, – сказала я.

– Проще говоря, мне бы не поздоровилось...

– Вы хотите сказать...

Но он прервал меня с ожесточением:

– Я хочу сказать то, что сказал. Я не первый год работаю на фабрике. Вот таким мальчишкой стал за машину и достиг кое-чего. Нелегко мне это далось. Сейчас я мастер, заметьте, и если буду тонуть, ни одна душа на фабрике не окажет мне помощи. Когда-то и я был членом союза, но во время последних двух забастовок соблюдал интересы компании. Меня и ославили штрейкбрехером. И теперь ни один рабочий не согласился бы со мной выпить, если бы я ему предложил. Видите, как меня разукрасили? Это неведомо откуда на голову мне сыплются кирпичи. Нет мальчишки у прядильной машины, который не бранил бы меня последними словами, стоит мне отвернуться. Один друг у меня на свете – компания. Тут не то что мой долг, тут и хлеб мой, и жизнь моих детей... Вот почему я и шагу не сделаю против компании.

– Ну а Джексон? Правильно, что его лишили компенсации?

²⁹ Яркий пример борьбы за существование, этого основного закона тогдашнего общества. Люди пожирали друг друга, как звери, мелкие хищники становились добычей крупных. В этой волчьей стае Джексон принадлежал, очевидно, к самым смиренным и беззащитным.

– Нет, неправильно. Он работал добросовестно. И человек он смирный, мы за ним ничего плохого не знаем.

– Значит, вы не сказали на суде правду, как присягали?

Он покачал головой.

– Правду, всю правду и одну только правду? – торжественно произнесла я.

Что-то исступленное мелькнуло в его взгляде. Он поднял глаза – не на меня, на небо.

– Пусть мою душу и тело терзает вечный огонь – я все вытерплю ради моих детей! – сказал он.

Управляющий Генри Даллес, господинчик с лисьей физиономией, смерил меня наглым взглядом и наотрез отказался отвечать. Я так и не добилаь от него ни одного слова в объяснение его поведения на суде. Больше посчастливилось мне с другим мастером, Джеймсом Смитом. На первый взгляд его угрюмое лицо не сулило ничего хорошего. Вскоре выяснилось, что и он не волен в своих словах и поступках, но по развитию этот человек показался мне выше простого рабочего. Так же, как и Питер Донелли, он подтвердил, что Джексону полагаься компенсация. Он даже сказал, что недобросовестно и жестоко было выбросить на улицу беспомощного калеку, пострадавшего на производстве, и добавил, что случай с Джексонем не единственный: компания на все пойдет, чтобы не дать рабочему компенсации за увечье.

– Это стоило бы акционерам не одну сотню тысяч в год, – сказал он.

Я вспомнила дивиденды, выплаченные нам последний раз: свое нарядное платье, книги, купленные для отца; вспомнила слова Эрнеста о том, что платье у меня залито кровью рабочих, – и внутренне поежилась.

– В своих показаниях вы умолчали о том, что Джексон пострадал, желая спасти машину от поломки, – сказала я.

– Да, умолчал. – Смит сурово стиснул губы. – Я сказал, что Джексон поплатился за собственную небрежность и что компания тут ни при чем.

– Он действительно проявил небрежность?

– Называйте как хотите. Человек не в силах выдержать такую работу. У него сдают нервы.

Я невольно заинтересовалась Смитом. Он и в самом деле не был похож на простого рабочего.

– Вы, по-видимому, образованнее многих рабочих, – сказала я.

– Я получил среднее образование, – ответил Смит. – Пока учился, работал дворником. Собирался и в университет. Но после смерти отца пришлось все бросить и пойти работать. Моей мечтой было стать натуралистом, – смущенно прибавил он, словно признаваясь в невольной слабости. – Я очень люблю животных. А вот пришлось поступить на фабрику. Потом стал мастером, женился, пошли дети, то да се – словом, я уже себе не хозяин.

– Что вы этим хотите сказать? – спросила я.

– Я объясняю, чем вызвано мое поведение на суде, почему я согласился дать требуемые показания.

– Кто их от вас потребовал?

– Полковник Ингрэм. Он научил меня, как отвечать на суде.

– И это погубило Джексона?

Смит кивнул. По лицу его расплзался темный румянец.

– У Джексона жена и трое детей, он их единственный кормилец.

– Знаю, – спокойно подтвердил Смит, хотя лицо его все больше багровело.

– Скажите, – продолжала я, – трудно вам было из человека, каким вы были, скажем, в старших классах, превратиться в такого, который способен так держаться на суде?

Внезапность последовавшего взрыва ошеломила меня и испугала. Смит, выйдя из себя, чертыхнулся³⁰ и стиснул кулаки, словно готов был меня избить.

– Простите, – сказал он, опомнившись. – Да, это было трудновато. А теперь пора вам уходить. Вы из меня вытянули все, что хотели, но предупреждаю: вы просчитаетесь, если вздумаете где-нибудь на меня сослаться. Я вам ничего не сказал, так и знайте; тем более что свидетелей у вас нет. Я буду отрицать каждое ваше слово – если понадобится, под присягой.

После разговора со Смитом я зашла к отцу на химический факультет и неожиданно застала в его кабинете Эрнеста. Он поздоровался со мной как ни в чем не бывало, и меня опять поразила его непринужденная и вместе с тем застенчивая манера. Казалось, он не помнит нашего недавнего бурного спора, но я отнюдь не собиралась предавать его забвению.

– Я тут занялась делом Джексона, – сразу начала я.

Эрнест насторожился и, по-видимому, с интересом ждал рассказа. В глазах его я читала уверенность, что прежние мои взгляды уже поколеблены.

– С ним и правда обошлись бесчеловечно, – призналась я. – Я... я даже думаю, что кровь его в самом деле стекает с нашей крыши.

– Разумеется, – сказал Эрнест. – Если бы с Джексоном и его товарищами по несчастью поступали как должно, не видать бы вам таких дивидендов.

– Боюсь, что у меня навсегда пропал вкус к красивым платьям, – сказала я.

Было отрадно виниться перед Эрнестом, довериться ему, как своему исповеднику. Его сильная натура и впоследствии была мне опорой, его присутствие успокаивало меня и согревало ощущением безопасности.

– В мешковине вы будете чувствовать себя не лучше, – совершенно серьезно заметил Эрнест. – На джутовых фабриках такие же порядки. Да и везде то же самое. Вся наша хваленая цивилизация воздвигнута на крови и полита кровью, и ни мне, ни вам, и ни кому бы то ни было другому не стереть со лба кровавого клейма. С кем же вам удалось поговорить?

Я рассказала ему все.

– Да, никто из этих людей в себе не волен, – заметил Эрнест. – Все они пленники промышленной машины. И самое страшное то, что путы, привязывающие их к этой машине, вписываются им в сердце. Дети, хрупкая юная поросль, вызывают к их нежности – и этот инстинкт повелительнее догматов морали. Мой отец был не лучше. Он обманывал, воровал, готов был на любой бесчестный поступок, только бы накормить меня и моих братьев и сестер. Он тоже был невольником промышленной машины – она искалечила ему жизнь, преждевременно состарила его и убила.

– Ну а вы? – прервала я его. – Ведь вы же сами себе хозяин?

– Не совсем, – возразил он. – Но по крайней мере сердце у меня не на привязи. Я часто благословляю судьбу за то, что нет у меня семьи, хотя нежно люблю детей. Если бы я женился, то не позволил бы себе иметь детей.

– Ну, это никуда не годная точка зрения! – воскликнула я.

– Знаю, – сказал он печально, – но она не лишена смысла. Я революционер, а это опасная профессия.

Я недоверчиво рассмеялась.

– Если бы я ночью забрался к вам в дом, чтоб украсть у вашего отца его дивиденды, что бы он сделал? Как вы думаете?

– У папы на ночном столике всегда лежит револьвер. Вероятно, он застрелил бы вас.

³⁰ Здесь стоит отметить энергичную грубоватость лексики, характерную для того времени волчьих нравов и повадок. Мы разумеем, конечно, не брань Смита, а слово «чертыхнулся» в устах Эвис Эвергард.

– А если бы я и мои товарищи ввели в жилища богачей полуторамиллионную армию³¹, – представляете, какая началась бы пальба?

– Но вы этого не делаете, – возразила я.

– Ошибаетесь, я именно это и делаю. И мы намерены забрать у богачей не только сокровища, припрятанные у них в домах, но также и источники этих богатств – рудники, железные дороги, заводы, банки, магазины. Вот что такое революция. Это действительно опасное занятие. Боюсь, пальба начнется такая, что превзойдет даже и мои ожидания. Но, как я уже говорил, все мы в той или иной мере рабы промышленной машины. Каждый из нас так или иначе захвачен ее колесами. Вы убедились в этом относительно себя и тех людей, с кем вам пришлось беседовать. Поговорите с другими, с тем же полковником Ингрэмом. Поговорите с репортерами, которые предпочли умолчать о деле Джексона, поговорите с редакторами газет. Вы убедитесь, что все они – рабы этой машины.

В течение дальнейшей беседы я спросила Эрнеста, чем объясняется огромное число несчастных случаев на производстве. В ответ на этот простой вопрос я услышала целую лекцию с массой статистических данных.

– На эту тему написано немало исследований, – говорил Эрнест. – Установлено, что в первые часы рабочего дня несчастных случаев почти не бывает, зато по мере истощения у рабочего мускульной и нервной энергии число их быстро растет.

Знаете ли вы, что у вашего отца в три раза больше шансов сохранить здоровье и жизнь, чем у простого рабочего? Это как нельзя лучше известно страховым обществам³². За тысяче-долларовый полис, страхующий от несчастного случая, ваш отец должен платить в год четыре доллара двадцать центов, а рабочему за такой же полис приходится платить пятнадцать долларов в год.

– А каковы ваши шансы? – спросила я и тут же почувствовала, что мой вопрос выдает слишком большое участие.

– У революционера по сравнению с рабочим в восемь раз больше шансов быть убитым или искалеченным, – ответил он беспечно. – Страховые общества берут с химиков, работающих со взрывчатыми веществами, в восемь раз больше, чем с рабочих. А я для них, пожалуй, и вовсе неприемлемый клиент. Но почему вы спрашиваете?

Я не знала, куда смотреть, чувствуя, как горячий румянец заливает щеки. И не потому, что сердце мое открылось Эрнесту, а потому, что оно открылось мне самой – в его присутствии.

Вошел папа и начал собираться домой. Эрнест вернул ему взятые у него книжки и попрощался. На пороге он обернулся и сказал:

– Кстати, раз вы уж заняты тем, что губите свое душевное спокойствие, как я занят тем, что гублю душевное спокойствие епископа, хорошо бы вам навестить миссис Уиксон и миссис Пертонуэйт. Мужья их, как вы знаете, главные акционеры Сьеррской компании. Как и все мы, грешные, обе эти дамы привязаны к промышленной машине, с той лишь разницей, что они забрались на самую вышку.

³¹ Намек на число голосов, поданных в США за социалистов на выборах 1910 г. Их неуклонный рост свидетельствовал о быстром укреплении революционных сил в Америке. В 1888 г. за социалистов в США было подано 2068 голосов; в 1902-м – 127 713; в 1904-м – 435 040; в 1908-м – 1 108 427 и, наконец, в 1910-м – 1 688 211.

³² В условиях волчьей борьбы за существование человек не был уверен в завтрашнем дне, как бы ни был богат сегодня. Опасение за участь семьи заставляло его прибегать к различным видам страхования. В наш разумный век подобные мероприятия кажутся до смешного примитивными, но в те времена страхованию придавали большое значение. Характерно, что фонды страховых обществ часто расхищались и растрчивались теми самыми лицами, которые были уполномочены ими ведать.

Глава IV

Рабы машины

Рука Джексона не давала мне покоя. Впервые я столкнулась с действительностью, впервые увидела жизнь. Мои университетские занятия, наука, цивилизация – все оказалось миражом. До сих пор жизнь и общество были известны мне по книгам, но то, что казалось убедительным и разумным на бумаге, рухнуло при первом же соприкосновении с действительностью. Рука Джексона была фактом живой действительности. «Факт, сударь, неопровержимый факт!» – эти слова Эрнеста не переставали звучать в моих ушах.

Чудовищным, немислимым казалось мне утверждение, будто все наше общество воздвигнуто на крови. Но как же Джексон? Я не могла от него отмахнуться. Мысль моя возвращалась к нему подобно компасной стрелке, всегда указывающей на север. С Джексоном поступили ужасно. Ему отказались заплатить за его кровь, чтобы отсчитать акционерам тем большие дивиденды. Я знала множество беспечно-благодушных семейств, которые получили эти дивиденды, а с ними и малую толику крови Джексона. Но если так поступили с одним человеком и общество равнодушно проходит мимо, та же участь, должно быть, постигает многих. Я вспомнила рассказы Эрнеста о женщинах Чикаго, что гнут спину за девяносто центов в неделю, и о малолетних тружениках на текстильных фабриках Юга. Это их худенькие, восковые ручки сработали ткань, из которой сшито мое платье. А наше участие в прибылях Сьеррской компании разве не говорит о том, что кровь Джексона брызнула и на мое платье. Джексон неотступно преследовал меня. Каждая моя мысль приводила к Джексону.

Какой-то тайный голос говорил мне, что я стою на краю пропасти. Вот-вот упадет завеса, и моим глазам откроется страшная неведомая действительность. И не только моим глазам. Весь наш маленький мирок был в смятении, и прежде всего мой отец, – я не могла не видеть, какое влияние оказывает на него Эрнест. А епископ? Последний раз он произвел на меня впечатление больного. Весь он как натянутая струна, в глазах застыл невыразимый ужас. По некоторым намекам я догадывалась, что Эрнест сдержал свое обещание провести его через преисподнюю. Но какие картины ада открылись глазам епископа, оставалось для меня тайной: бедняга был так ошеломлен, что не мог говорить об этом.

Однажды, когда ощущение, что все рухнет, охватило меня с особенной силой, я стала мысленно обвинять Эрнеста. «Если бы не он, мы жили бы так счастливо и спокойно...» И тут же испугалась этой мысли как отступничества, и Эрнест предстал мне преображенным: со светлым, сияющим челом, словно ангел Господень, не ведающий страха, он явился мне глашатаяем правды, борющимся с ложью и несправедливостью за лучшую жизнь для бедных, сирых и угнетенных. Я подумала о Христе. Ведь и он был заступником смиренных и обездоленных – против установленной власти священников и фарисеев. И, вспомнив кончину распятого, я испугалась за Эрнеста. Неужели и он обречен на гибель, этот юноша с прекрасным сильным телом, юноша, чей голос звучит как призыв горна и звон оружия!

В эту минуту я поняла, что люблю Эрнеста, что горю желанием внести в его жизнь тепло и ласку. Какая угрюмая, суровая, неприютная жизнь! Отец его, чтобы прокормить семью, вынужден был изворачиваться и воровать, пока непосильная борьба не свела его в могилу. Сам Эрнест десятилетним мальчиком пошел работать на фабрику. Я жаждала обнять его, прижать к груди эту голову, отягченную суровыми думами, дать ему, хотя бы на короткий миг, покой – только покой и светлое забвение.

С полковником Ингрэмом мне довелось встретиться на церковном собрании. На правах давнишней знакомой я увлекла его в укромный уголок, весь заставленный фикусами и пальмами. Полковник, не подозревая, что попал в западню, приветствовал меня с обычной своей галантностью и непринужденностью. Это был приятный обходительный человек, тактичный и

любезный собеседник. Среди наших мужчин он выделялся своей аристократической внешностью. Рядом с ним даже почтенный ректор университета выглядел незначительным и простоватым.

Как выяснилось, полковник Ингрэм был не в лучшем положении, чем малограмотный рабочий. Он тоже не был в себе волен. Он тоже был рабом промышленной машины. Никогда не забуду, какую перемену в нем вызвал первый же мой вопрос о Джексоне. Куда девалось его ласковое добродушие! Ни следа благовоспитанности на холеном лице, искаженном гримасой злобы. Я испугалась, вспомнив ярость, овладевшую мистером Смитом. Правда, полковник Ингрэм не стал браниться – единственное, что отличало его от фабричного рабочего, – но даже обычная находчивость – полковник слыл остряком – на этот раз изменила ему. Озираясь по сторонам, он, казалось, искал, куда бы улизнуть. Но пальмы и фикусы держали его в западне.

Господи, опять этот Джексон! Что за фантазия докучать ему этим человеком? Подобные шутки не делают чести ни уму моему, ни такту. Разве я не понимаю, что человеку его профессии приходится забывать о личных чувствах? Отправляясь в суд, он оставляет их дома. В суде он чувствует и действует только как профессионал.

Я спросила, полагалась ли Джексону компенсация.

– Разумеется, – сказал он. – Вернее, таково мое личное мнение. Но формально он был не прав.

Очевидно, полковник вновь обретал свою обычную находчивость.

– Разве сила закона не в том, что он служит справедливости? – спросила я.

– Сила закона в том, что он служит силе, – улыбаясь, парировал полковник.

– А где же наше хваленое правосудие?

– Что ж, сильный всегда прав – тут нет никакого противоречия.

– И это тоже суждение профессионала?

Как ни странно, на лице у полковника Ингрэма проступила краска стыда. Глаза его снова забегали по сторонам, но я решительно загораживала ему единственный выход.

– Скажите, а разве подчинение своих личных взглядов профессиональным не является нравственным самокалечением, своего рода умышленным членовредительством?

Ответа не последовало. Полковник пустился наутек, повалив в своем бесславном бегстве кадку с пальмой.

Я решила обратиться в газеты и написала спокойную, сдержанную, вполне объективную заметку о случае с Джексонном. Никого не обвиняя, ни словом не касаясь тех, с кем мне пришлось беседовать, я ограничилась одними лишь фактами: рассказала, сколько лет Джексон проработал на фабрике, как, желая спасти машину от поломки, он пострадал сам и в каком отчаянном положении оказался и он, и его семья. Мою заметку не напечатала ни одна из трех местных газет и ни один из журналов.

Тогда я разыскала Перси Лейтона. Он совсем недавно окончил университет и стажировался в качестве репортера в самой влиятельной нашей газете. Когда я спросила его, почему вся наша пресса так боится дела Джексона, он рассмеялся.

– Такова наша издательская политика. Мы, мелкая сошка, тут ни при чем. Это дело редакций.

– Какая политика? – спросила я.

– А такая, что мы всегда заодно с корпорациями. Никто не поместит такой заметки, хоть бы вы заплатили за это как за объявление. Всякий, кто помог бы вам протащить ее в печать, слетел бы в два счета. Заплатите как за десять объявлений, все равно никто ее у вас не возьмет.

– Какова же ваша роль в этой политике? – спросила я. – Вы, верно, часто поступаете правдой – в угоду начальству, как начальство жертвует ею в угоду корпорациям?

– Меня это не касается. – Лейтон смутился, но ненадолго. – Мне не приходится писать неправду, и совесть у меня чиста. Но, конечно, в нашем деле нельзя иначе. Такая уж это работа, – закончил он с мальчишеской лихостью.

– Но когда-нибудь ведь и вы станете редактором и будете проводить эту политику?

– К тому времени я уже буду прожженным журналистом, – усмехнулся он.

– Но пока вы не прожженный журналист, скажите, что вы лично думаете о газетной политике?

– Ничего не думаю, – ответил он без запинки. – Выше лба уши не растут – вот золотое правило для всякого журналиста, если он хочет преуспеть в жизни.

И Лейтон преважно тряхнул головой.

– А хорошо это? – настаивала я.

– Хорошо все, что хорошо кончается, не правда ли? Не мы установили правила этой игры, и нам остается только им подчиниться. По-моему, это ясно.

– Да уж чего ясней, – пробормотала я. Но мне больно было за его молодость, и я не знала – возмущаться или плакать.

Я начинала понимать, что скрывает в себе общество, в котором я жила, и за внешним благообразием угадывала ужасную действительность. Казалось, против Джексона существовал молчаливый заговор, и я уже с сочувствием думала о плаксивом адвокатишке, который так неудачно вел его дело. Но молчаливый заговор был много шире и касался не только Джексона. Участь Джексона разделяли и другие рабочие, искалеченные машиной, и не только на фабриках Сьеррской компании, но и на других заводах и фабриках, да и во всей промышленности.

А если так, значит, все наше общество зиждется на лжи! В ужасе останавливалась я перед этим заключением. Но передо мной живым укором стоял Джексон, рука Джексона, кровь, обогрившая мое платье и каплями стекавшая с нашей крыши. Передо мной было много Джексонов – разве Джексон не рассказывал, что видел их сотни? Никуда не денешься от Джексона.

Я побывала также у мистера Уиксона и мистера Пертонуэйта, крупнейших акционеров Сьеррской компании. На них мои рассказы о Джексоне не произвели никакого впечатления; их люди оказались куда отзывчивее. С удивлением увидела я, что эти джентльмены не считают за общепринятой моралью, что у них в обиходе своя, аристократическая мораль, мораль господ³³

³³ Задолго до рождения Эвис Эвергард Джон Стюарт Милль в своем очерке «О свободе» писал: «Повсюду, где налицо правящий класс, господствующая мораль в значительной мере определяется его классовыми интересами и чувством классового превосходства».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.